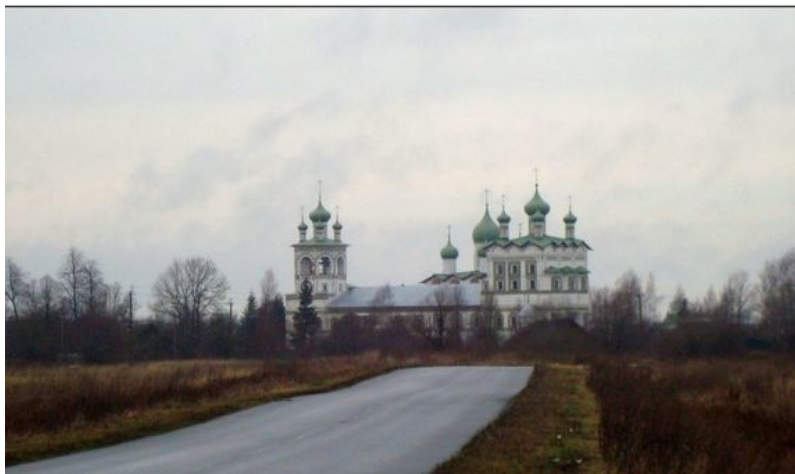


Олег Копытов

Долгая дорога

Сборник рассказов



Олег Копытов
Долгая дорога.
Сборник рассказов

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21994522
ISBN 9785448332609*

Аннотация

Солдат Первой мировой, прошагавший от Урала до Парижа и Марселя... и обратно, на Урал. Солдат Второй мировой, прошагавший от Бреста через полстраны на восток, а потом – пол-Европы на запад... Крым, не ходивший никуда, но проделавший в четверть века долгий путь... Владивосток и Хабаровск в своем путешествии в Москву и Петербург. Кому-то жизнь – судьба, кому-то еще и долгая дорога.

Содержание

Долгая дорога	5
Что ему Гекуба?	18
Скворец прилетает редко	38
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Долгая дорога
Сборник рассказов
Олег Копытов

© Олег Копытов, 2016

ISBN 978-5-4483-3260-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Долгая дорога

Забрали в солдаты Андрейку Ермолова аккурат с началом германской, в августе четырнадцатого. Провожали всей деревней – деревенька Красная под Юмом маленькая, восемь дворов. Провожали до расстани во ржи, рожь стояла в голову выше головы, пьяное солнце бурлило в хмельной голове. До Юрлы добрались на телеге деда быстро, в Кукольной Андрейка еще стаканчик пропустил – монеты были, хоть дед не одобрил.

От Юрлы до Кудымкара ехали уже казенным обозом, парней сорок со всего уезда, вечер и полночи, почти все спали. А утром Андрейка не о том думал, что такое война, как оно на войне, как долго еще ехать до нее, а о том, как вернуться с войны будет. Может, не в обозе, в похмельной сутолоке, среди инвалидов, а один – верхом, с крестами на груди, не по пыльному тракту, а лесом-полями, по духмяным тропинкам, шапка заломлена, цветочек в зубах...

С Перми началась армия. Армия – она горше горькой редьки, чуть что – в зубы. Не так повернулся, не то слово вымолвил – замордуют. За длинный язык и неисполнение – убьют. Коль прежде сам не повесишься. Язык у Андрейки длинный. Ответить офицерам, может, сам и не хотел бы, но бурливое нутро хоть что, да пробурчит, а то и громко выскажет. Через это был часто бит взводным Рутневым. Это

уж в Смоленске, в сентябре, когда готовились присоединяться к Варшавскому прорыву. Стояли полевым лагерем близ города. Утром – полковой смотр; взводный Рутнев громко денщику: «А где-ть моя портупея?» – а Ермолов из третьей шеренги негромко, но все слышали: «Как надену портупею, во сто разов поумнею!» Взвод хохочет... После смотра отвел взводный Андрейку за палатку да так вздул гладким топорищем без топора – левое ухо слышать перестало.

В Польше сперва было – о-го-го! От Варшавы и Ивангорода теснили русские австрийца почти до самой Германии. Потом настало *ай-йй-йй* – немцы, 9-я армия, отбросили русских снова до Варшавы. Потом контратаки по флангам. Иной раз и без артподготовки. Иной раз – прям на пулеметы. Выпрыгнул как-то Андрейка из окопа в атаку, два шага сделал, а уже слева-справа все бойцы в предсмертном матерке хрипят; ему пуля в правое плечо свинцовым тумаком, как игрушку вокруг крутанула, винтовка назад в окоп улетела.

Тогда после тяжелых ранений еще списывали подчистую. Лежал Андрейка в госпитале в царском месте, оно так и называлось – Царское Село! В соседнем отделении, говорили, сама царица в палаты, переодетая в сестру милосердия, хаживала. Впрочем, болтали про нее всякое... и гнусное самое – чаще.

К лету Андрейка совсем поправился. Думал пойти в Питер, поглядеть на столицу, на заводе поработать, потом и домой. Не дали. Дав послужить в Царском Селе три месяца

вольнонаемным санитаром, осенью пятнадцатого снова призывали в царскую армию. Но отправили эшелон на сей раз почему-то на восток. Почти на родину, во всяком случае, на Урал – в Екатеринбург. Ой, лучше бы на фронт. А здесь, в тылах, опять маета, хуже ада – мордобой день за днем, муштра да стукачество. Об окопной водке или лазаретном спирту даже и не мечтай. Мечтай лишь о том же фронте, лучше – о дороге.

К вечеру едва стояли на ногах от муштры и нарядов – те, кому повезло, кому розог не назначили. А назначали часто. Розги в армии – те же плети. Хуже... Вот был крупный такой парень из местных – Ваньша Зайцев. Служил с таким же бугаем, родным братом Степаном. Ваньше дали отпуск на неделю, домой ему полдня на поезде. А брат ему жутко завидовал. И думал, что братец в отпуску его землю на себя запишет, был у них давний спор из-за земли. Он и наговорил на брата, что тот подготовил дезертирство перед отправкой на фронт. Командир полка проверять не стал – назначил Ивану двадцать пять розог. А ритуал был такой, что выводили наказанного перед строем, а у строя спрашивали добровольца. Вот Степан и вызвался брата пороть. Порол в смерть, едва потом Ивана откачали. А после Ваньши вывели его друга, с кем он домой ездил. Теперь желающих не было. Все понимали – не за что. Приказали правофланговому. Тому деваться некуда, но стал бить легко, манерно. Тогда его самого по-настоящему унтера выпороли. Тоже двадцать пять розог.

И тоже до потери чувств. Такие порядки...

Летом шестнадцатого формировали особые полки экспедиционного корпуса для отправки в союзную Францию. Все старались попасть туда. Говорили, на чужбине будет к русским солдатам большое снисхождение от своих офицеров, а от тыловых французских служб – тройной паек с вином. Все хотели попасть туда, чтоб хотя бы просто тянуть солдатскую лямку, чтобы не издевались так. Брели самых рослых и крепких. Андрейке подсказал один дядька – становись в левый фланг, в заднюю шеренгу, да встань на цыпочки, авось проскочишь за рослого. Так и сделал. Получилось!

Опять дорога. В дороге на войне хорошо! На железной-то дороге. Теплушка, картишки, хохот с утра до ночи, ни шрапнели, ни пуль. В Архангельске ночью загнали в трюмы английского парохода. Утром отплыли. Качка, мазутная вонь, после завтрака с прогорклой кашей все – блевать. День блевали, ничего не ели, только воду пили. Хорошо, стали пускать на палубы. На какой-то день, уже после английских портов, когда обходили Францию с севера на запад – смута. Командиров мало – и все, как показалось, немцы! Как так? С немцем воевать идем, а командиры – немцы... и так же, как и русские высокобродя, суки, житья не дают, чуть что – в морду! Ну как так!

Командирами 5-го и 6-го пехотных полков третьей особой бригады, шедших на этом большом транспортном пароходе, действительно были прибалтийские немцы. Оба ненавиде-

ли солдат. Солдаты – их. Долго так продолжаться не могло. В море, в долгом походе... Где слухи, в особенности те, которые хотят услышать, разносятся мгновенно. А иногда и материализуются. Ночью капитан корабля поймал одного офицера, когда тот подавал фонариком сигналы шедшим параллельно быстроходным немецким катерам. Его уже потащили к борту выбросить к черту. Но в походе у русских ни у кого не оказалось оружия, вооружена была только английская команда. Капитан вынул из кобуры свой маузер, расправу на корабле не разрешил. Сказал, придем в ближайший порт – у вас будет час.

В Пемполе офицера, немецкого шпиона, наказали как поездного вора. Поднимали на руках, бросали вверх, но не ловили. Тот падал на бетонку: спина, затылок – в кровавую кашу... Поплатиться не успели. Пароход заправили углем, он пошел дальше – в Брест.

Встречу в Бресте русских солдат Андрияха Ермолов запомнил на всю жизнь – как самое яркое, теплое, волнующее, сладкое. Порт Брест, мало сказать, большой – огромный! На весь горизонт с борта корабля – краны, краны, краны... Узкая полоска пристани внизу у борта парохода. На пристани – барышни, нежные, как лепестки, юноши в пиджаках, мамыши, папаши, французские офицеры в белых кителях и круглых фуражках – все урчат, как котята, улыбаются; сине-бело-красные знамена, цветы, цветы, музыка, руки гражданских в толпу солдат с шоколадками, коробками кон-

фет, цветными открытками, коньяком в пузатых бутылках; за спиной – спокойное стальное море, впереди – что-то неизвестное, но манящее; голова кружилась, как во сне, минуту, две, час, до вечера...

На фронт через месяц. Пока... В Шампани, в лагере Майи, к юго-востоку от Парижа, 3-ю бригаду русской экспедиции догнала расплата за бунт на корабле – приказом местного коменданта, согласованным с объединенным командованием, одиннадцать человек рядового состава третьей бригады за самоуправную казнь командира 5-го полка расстреляли. Буднично и просто, после утреннего развода. Зачитали фамилии и отвели к бетонным стенам гаражей. Те шли без ремней и ремешков на поясах, придерживая штаны, потупя взор, думая лишь об одном... а чего уж было вспоминать...

Станции с красными крышами. Поля, виноградники, рощи, деревни. Красиво, ухоженно. Даже лес – как на открытках.

Полгода на французской передовой. Странный фронт. Почти все полгода – возле города Мурмелон-ле-Гран, поселка Мурмелон-де-Пти да села Ливри-сюр-Вель. Мурлыкающий слог названий не вяжется ни с чем. День за днем – гнилая земля окопов; дерьмом несет из каждой хлюпающей щели – от соседа по окопу, от тебя самого. Месяц за месяцем – чаще всего ползаешь на карачках, под обстрелом, днем и ночью ухают орудия, гавкают пулеметы, устало хрипят офицеры. Из окопов под Ливри-сюр-Вель – на окраи-

ну Мурмелон-де-Пти. С нее – на высоту под Мурмелон-ле-Гран. И обратно. Жрешь без хлеба из ржавой банки тушенку из жил, не чувствуя вкуса, спишь, обоссанный вечным дождем. В атаку никто здесь не ходит. Европа – она маленькая. А шестьдесят верст на восток от Мурмелона до Люксембурга здесь никто никогда не пройдет. Даже когда б не стреляли. Здесь вообще далеко не ходят. Столетиями на месте сидят. А сейчас... Грязный окопный дурдом. Полгода. День за днем. А под Рождество – снег. А на следующий день – газы. Немцы пустили газ в ихний сочельник. Кто не успел быстро надеть маску, кто хватанул газ, уже через минуту вырыгивал все свои внутренности и зеленым бревном валился в черную жижу. На дне окопов, на брустверах, в окопных щелях – сотни тел. 3-ю русскую бригаду – во вторую линию. Санитарам-трупоносам не позавидуешь. Собирать телеги этой гнили, бывших людей... Через пару недель не позавидуешь трупоносам-немцам: газы пускают французы. Теперь навозные кучи бывших человеческих тел – там.

В феврале семнадцатого 3-ю особую пехотную бригаду наконец сняли с передовой. Опять – лагерь Майи-Шампань. Чистые брезентовые палатки, в них – кровати с бельем, троюары, столовые для солдат, кафе для офицеров. В городке дневальные с ведрами – мусорные урны опорожнять и дорожки с ранними лужами песком засыпать.

Вышел однажды Андрейка утром из палатки, присел на скамейку, закурил. Посмотрел на небо. Оно – все в обла-

ках, какие-то – барашками. Белое небо, чуть-чуть голубого. Даже солнце над облаками большим белым пятном. Птица высоко пролетела. Батюшки-светы, как хорошо!

Бывало, между обедом и ужином – чай с печеньем, однажды даже русские газеты! Больше меньшевистских. Но большевистские тоже есть. А в них... как бы короче и ясней сказать... Андрюха Ермолов почувствовал главное. Там про то, что люди – это не два сорта людей, где белая кость, офицеры, купцы и начальники – одна порода, хоть их и мало, а вот все остальные, пусть много их, но порода другая, дрова и тяглый скот для первых. В тех газетах, сквозь ерепень и непонятность слога, вот эта мысль: люди есть люди, и все!

Когда в армии затишье, не стреляют, не воеет шрапнель, в армии вовсю гуляют слухи. В марте семнадцатого – что царь свергнут. Потом – что не свергнут, а отказался от трона в пользу брата. Потом – что идет революция. Потом – что ее нету.

Так или иначе, русское командование над своими теряло власть. На сей раз не так, как два спесивых офицера на пароходе, на время. Уже совсем. Так что на любое приказание – ответ сквозь зубы, с плевком и матерком. А то и вовсе: «Да пошел ты!»

У французов другое, у них за стенами Майи-Шампань, полевая жандармерия; взбрыкнешь – мало не покажется. А у русских на десяток офицеров – две сотни солдат, а Петербург-Петроград, в котором, кстати, черти что, за тыщи

километров.

Но воевать в апреле семнадцатого командование русской бригады своих все же заставило. Не кнутом, так обещанием пряника. Обещали после взятия двух укрепрайонов по тысяче франков и ящику виноградной французской водки на брата, сколько хочешь бельгийских девок на взвод и отвести после боев месяца на три в глубокий тыл, куда-нибудь в Бордо.

Готовилось большое наступление на севере Франции. Генерал Марушевский обещал французам отбить у немцев несколько важных пунктов у бельгийской границы. Наступали по-русски лихо – без разведки и артподготовки. По 250 граммов рома, в два раза забористей водки, – и вперед. Мясом наружу. После первой же атаки в Андрюхиной 4-й роте из ста бойцов осталось семнадцать. Андрейке опять повезло – его быстро ранило. Сразу двумя пулями в ногу. В этот же момент дружку Сереге снесло свистящим осколком полголовы.

Сатль. Госпиталь... Вспоминался агитатор-большевик, в марте все ходил по палаткам, отговаривал наступать. Тогда казался сумасшедшим, а ведь правильно говорил: кроме как на пушечное мясо – мы никому здесь не нужны... Доктор-француз: «*Jambe doit être amputée...*» – «Я те дам *ампуте!*» Одному русскому ампутировали ногу – не выжил; Андрюха отрезать ногу не дал. Два месяца мучился дикими болями. Но выжил...

Сен-Серван, команды для выздоравливающих. Здесь

по ночам в палатах нет врачей, даже дежурных фельдшеров. Здесь продолжают умирать русские солдаты. Но это уже не то. Это уже не тот крошечный ад, что был. Французам, даже рядовым, дают вино, котлеты и салат, русским – квас и кашу с желтым салом. Но это уже не важно! И солдатский комитет в русской роте появился. Комитетчики пытаются устраивать свои порядки, агитируют разговорами всякими, думают – елей на душу льют. Но это совсем не важно... Потому что в воздухе носится такая усталость от войны, от нелепицы, что тем, кто выжил, сам бог скоро велит идти домой...

В июне давали войсковое жалованье за два месяца и боевые за полгода. Здесь так: война войной, а с жалованьем чинно. Андрейка с новым дружкой – сколько их перебывало у него за войну! – пошли в город. Посидели в солдатском доме. Дружок сговорился с проституткой. Здесь это можно без проблем, быстро, чистенько, внятно, по таксе. На обратном пути еще и в ресторанчик заглянули. Гражданский. На выходе дали по мордам швейцару, за то что часом назад пускать не хотел. А в части, уже совсем под хмельком, скинули с лестничной площадки дежурного и помощника коменданта. Погуляли...

Расстрелять не расстреляли, но отправили дружка в тюрьму, а Андрюху на каторгу. Не за дебош. Всю русскую роту госпиталя для выздоравливающих отправили на франко-швейцарскую границу добывать камень. Куда-то русских

надо было отправить. Воевать они уже не хотели. Домой на пароходах – дорого, хлопотно, да и не за что. Война ведь все идет...

Жили в заброшенном доме на окраине пограничного городка. Как скот. Работали. Безмолвно. Как скот. Потом ломали камень в Деманше. Потом в Эльзас-Лотарингии... В России шла гражданская война. Вступить за брошенных другим временем в другой стране было некому. В Эльзасе видели колонну молодых французов в кандалах. Местные сказали: эти парни пытались скрыться от мобилизации, тоже пойдут на каменоломни. Андрюха вздохнул: «Молодцы».

Три года назад пришел транспорт с русскими в Брест. Наконец в августе девятнадцатого в Марселе снова грузился русскими корабль. Около тысячи человек, собранные из остатков всех четырех воевавших во Франции, Сербии, Греции, Северной Африке русских бригад, всходили на борт «Петра Великого». Андрей Ермолов шел по трапу одним из последних; ноги плохо слушались, саднила и жгла кожа спины, вчера, измученные долгой дорогой, зашли в окраины Марселя, хотели пить, бросились к фонтанам на бульваре – французские жандармы и конвоиры на конях всю походили по спинам нагайками, поблагодарили за помощь на войне.

А родина встретила крайне враждебно. На пристани Новороссийска столпились офицеры в погонах с золотым шитьем, дамы в большущих пышных шляпках, пузатые в мешковатых костюмах штатские. Смотрели на заграничных рус-

ских солдат с любопытством. И... брезгливостью. В Новороссийск белый комендант корабль так и не пустил. Андрюха понял: здесь вот те, кто делит всех на две породы – белую и серую. Здесь – все прежнее.

Первого сентября остатки русского экспедиционного корпуса встречал Севастополь. Белогвардейским конвоем. Штыками провожала Франция, штыками встретила Россия... Снова – плац, муштра, зуботычины. Снова – армия... та, что была. Только офицеров больше. Намного. Каждый пулеметчик – капитан, а то и полковник. Туапсе, Армавир. В Армавире пьяный полковник среди бела дня схватил за груди барышню, стал платье рвать, хотел насиловать прямо на скамейке; солдат из «французов» кованым прикладом винтовки без патронов – по фуражке... Сквозь белый верх – кровь и мозги. Солдата быстро расстреляли. Колонну «французов» – в Ставрополь. В бои с красными их не пускали, продолжали муштровать до изнеможения и агитировать до одури.

Андрюху схватил тиф. Болел свирепо. Даже в морге был. Спасибо санитару – как догадался, что живой... Оклемался.

Уходил из города ночью. Полгода по ночам шел по стране. Ночью – от патрулей. Белых, красных – любых. Бывал в хатах, где зайдешь, а на полу в луже крови кто-то лежит. Жена. Иль муж. А за пустым столом второй плачет. Жена иль муж. Каратели в хате побывали. Белые, красные – не важно.

Пришел на росстань возле своей деревеньки в августе два-

дцатого. Рожь высока. Немного июльскими ливнями побита. Отошел поглубже в рожь. Лег на землю. Цветочек-василек в зубы. Где был, сквозь что прошел – не думал. Лежал, спокойно улыбался...

По небу плыло облако. Большое, одно.

Что ему Гекуба?

Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой – Аюдагом, *Медведь-горой*. Спящий в море медведь пил соленую воду где-то очень, очень далеко – в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим – он стоял на пустом травяном квадрате, – невысоким забором совершенно-го квадрата росли кусты роз. Бутоны были полураскрывшиеся – желтые, красные и фиолетовые. Щемящим предчувствием *кого-то рядом* ему казалось, что это он сам, только другой – молодой, лет тридцать – тридцать пять назад, и две красивые девушки, точнее, девушка и женщина, которые – *где-то здесь*, близ!, но не понятно где, – улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он – стеснялся и даже боялся их...

Ему редко что-то снилось. Вернее, сновидения посещали его часто, но он редко когда и редко что запоминал. Редкими были даже такие пробуждения, когда в первые минуты или даже секунды ты помнишь не сам сон, а только то, что тебе что-то снилось... Возможно, другие в таких случаях додумывают, дофантазируют от коротких и неясных очертаний сна. Но он сам себе отказывал в самой способности фантазировать, придумывать, сочинять... А главное, когда сон

не успевал хоть маленькой капелькой соляной кислоты прожечь дыру, маленькую дырочку в хаосе инобытия сознания, уже на второй минуте пробуждения камешек, брошенный в ледяную шугу, камнем уходил на дно, а рыхлые твердые скопления на черной воде, восстанавливали тесноту и неподвижность...

Впрочем, он помнил, что ему в последние годы снился не только Крым, но и Москва и Петербург. Москва снилась огромным, огромным по длине своей и величине антрацит-но-черных зданий обок, но при этом узким... и все равно огромным *проспектом*. А потом, с этого проспекта он попадал в какие-то каменные розовые терема, дерзкое и ироничное сознание сна с улыбкой шептало ему: «Это ГУМ!». А Петербург снился широчайшим, с рядами невысоких молодых кудрявых дубков и молоденьких же берез, солнечным, с проблеском голубой реки рядом *бульваром*. С другой стороны, там, где не блестела полоска голубой с искорками воды, стояли какие-то пряничные невысокие дома с крутыми колпаками крыш и ажурными – все в красных цветах, балконами...

Он никогда не был ни в Крыму, ни в Москве, ни в Петербурге.

Он жил в странном городе, странно взявшем себе имя казака и предпринимателя с авантюристской и в то же время с державной жилкой (такое бывало когда-то!) Ерофея Хабарова, который никогда в этом месте, где широкий, всегда

спокойный, даже разлившись как море, Амур сливается с рекой поуже, но такой же величавой и тихой – Уссури, не был. Он жил в Первом микрорайоне – первом из микрорайонов всех сибирских городов, каждый из которых заимел в теплую социалистическую эпоху свой Первый микрорайон – до сего дня маленький, самодовольный и самобытный квадрат на-сестов-хрущевок, на сегодня густо заросший: летом – тенью, зимой – льдом, всегда – высокими деревьями и облупившимся пяти-шестислойным асфальтом тротуаров, плутавшими между этих серых коробок.

Ему было уже пятьдесят шесть лет. Странно, но он чем дальше, тем меньше ощущал такие солидные годы, чем дальше, тем больше ловил себя на том, что впереди ему отывается что-то большое и почти бесконечное. Как неторопливому Амуру – Тихий океан. Причем сливающийся с небом. Космосом?

Нет-нет, он не впадал в детство. Мало того, чем дальше, тем хуже он помнил свои детские годы, мало того, когда вспоминал какие-то эпизоды, казалось, ему вспоминаются сны о другом человеке, почему-то, чьей-то прихотью переселенные в его уютный домик самобытия. А поскольку – шуткуя, прихотью, то ненадолго. Вот забежал соседский мальчишка, выбежал...

Например, тот мальчишка, кажется, шестиклассник, ну да, он сам, но все же – нет, кто-то другой, не чужой, но другой, тот мальчишка, который имел репутацию тихого, сми-

ного, ничем не способного выделиться – кроме игры в шахматы, ну дак он же ходил уже второй год на секцию, в Дом пионеров, – который имел репутацию в классе невзрачную, да ладно бы, но он еще и был отличником, самая уничтожающая черта – что вообще с отличника можно взять! – но однажды пришел в ушитой рубашке. Были семидесятые годы, появилась мода – парням, юношам, даже мальчишкам – ушивать рубашки: брать на спине рубашки-сорочки два острых клинка складок и прострачивать их на машинке, потом заглаживая, отчего рубашка, как влитая, облегала тело... В тотальных условиях всеобщего дефицита советской поры, это было еще одним из самых невинных трюков тогдашней моды... Он пришел в ушитой рубашке, ждали когда откроют кабинет физики, весь класс сгрудился возле мрачных дверей закутка школы на минус полуэтаже, где был большой и навороченный еще и темной лабораторией кабинет физики, девчонки попискивали о своем в своем углу маленькой рекреации отдельно, а пацаны нашли тему – его ушитую рубашку. И тут Череп, Черепанов, он был тогда не просто лидером, он был тогда активным, шумным, лезущим во всё, стал деловито щупать его строчки на спине, приговаривать, что здесь не то и тут не так. Заключил: ты неправильно ее ушил. Не я ушивал! Ну и дурак тот, кто тебе ее ушивал. Это мама ушивала! Значит, мама твоя дура! И тут случилось то, что не ожидал никто. Прежде всего, он сам. Без раздумий и рефлексий он нанес не по-детски мгновенный

сильный точный расчетливый удар Черепанову в лицо. Потом у него вспухла внешняя сторона ладони, возле костяшки безымянного пальца – в особенности. И еще удар левой снизу коротким крюком в живот. Остановился немного, но, не остыв, хотел продолжить... Короткого замешательства хватило, чтобы одноклассники облапали его со всех сторон, сковали в неподвижности... Его статус тихони сменился на реноме пацана со сдвигом. Череп ему не мстил, но способствовал тому, что теперь с ним старались вообще не связываться, он же двинутый!..

Мама тогда же, в шестом сказала, что если и шестой класс закончит на одни пять, она достанет ему путевку в Артек. Сказочный пионерлагерь в Крыму. Где море, горы, кипарисы и магнолии, розарии на каждом шагу, с утра до вечера – сказочные игры и костры темно-синими вечерами под шум спокойных волн морских, где несколько городков-дружин одна другой чудесней: Морская, Горная, Прибрежная, Алмазная... Он и хотел и панически боялся этого. Он чуть не завалил на четверку физику, и химию чуть не завалил. Не специально, конечно, а от вдруг проснувшейся рассеянности, которая в корне своем претила и шахматам и учебе, и которую раньше он за собой не замечал... Но в конце учебного года взял себя в руки, разыграл этот эндшпиль собрано и как надо, в дневнике за год опять красовались одни пятерки... Но в Артек он так и не поехал. Мама сказала, нам надо с тобой серьезно поговорить. Понимаешь, я была сегодня в рай-

коме партии, меня вызывали после того, как я ходила в райком комсомола и там меня обнадежили... но в райкоме партии мне сказали: да, ваш сын идет по спискам круглых отличников, да – у вас неполная семья, но ведь вы не теряли кормильца, вы с мужем развелись, сами разрушили брак – это не так, ты знаешь, он был пьяница, я не могла так всё оставлять, – но они не дали мне ничего сказать, они сказали еще, что бесплатные путевки или с маленьким процентом оплаты они дают или детям героев труда, или сиротам, или рабочим из бригад коммунистического труда, или еще некоторым категориям, в которые ни ты, ни я не входим. Государство не может всё всем давать бесплатно. В Артек Советское правительство вкладывает очень много денег. Много иностранных детей из бедных стран приглашают бесплатно. В общем, путевку могут дать только в одну четверть компенсации от профсоюзов. Мне сказали заплатить двести сорок рублей. Ты представляешь – двести сорок рублей! Больше двух моих зарплат! Где я их возьму сразу все и так быстро? Мне негде их взять. Я могу занять у подруг десять, ну двадцать рублей. У двух, ну у трех. У дяди Сережи – ну двадцать, ну тридцать до получки. Всего – рублей семьдесят-сто. Но двести сорок! И до получки еще две недели. А выкупить путевку я должна в понедельник. Это невозможно! Ну что ты молчишь? Ты *всё* понимаешь?.. Да, он всё понял, и даже испытал какое-то облегчение...

Да вот так получилось, что почти все свои пятьдесят

шесть лет он прожил в Хабаровске. В одной и той же квартире в Первом микрорайоне. Учился в пединституте, где и остался по выпуску на кафедре ассистентом. Он ездил одним и тем же трамваем с полуокраины в центр год, пять, десять, тридцать... сколько уже лет? Он не считал.

Из других городов необъятной, как мир, России он бывал только во Владивостоке. Совсем другом, чем Хабаровск, городе. Городе у моря. Городе, чья холмистость была намного выше и круче, чем в хабаровская, весны туманней, зимы теплее, люди... да, люди всё же интересней. Он любил Владивосток. Когда он там защитил кандидатскую диссертацию... да, он защищался всего лишь по сложным союзам: «То березка, то рябина», – да в науке он не хватал звезд с неба, как «тоже мне маршал Конев» или милый чернявый шустрый еврей Шустер, которые в начале девяностых работали на его (его?) кафедре... но... когда он во Владивостоке защитил кандидатскую диссертацию, он понял и чувственно ощутил, что теперь у него два города. Его города. Разве этого мало?

Да, он не рвался, как многие в институте, даже еще в девяностые, когда получали три сотни тысяч, а билет на самолет до Москвы стоил полтора миллиона, не рвался ни в Москву, ни в поближе – в Иркутск или Новосибирск – ни на конференции, ни в отпуск. Он знал, что такое что-то необычное, такое сверхлюбозное, восхитительно акробатическое задолбное нужно было сделать в девяностые, чтобы чугунный ректор, из парттусовки Комсомольска-на-Амуре, а теперь –

из ближнего круга хабаровского Белого дома, ментовских больших звезд и самых авторитетных и безжалостных бандитов – подписал прошение о командировке в Москву. Посему и не рвался... А потом он много читал. В том числе о Москве. В том числе и газеты, где Москва год от года представляла всё более Содомом, слившимся с Гоморрой. Где даже образ Москвы Булгакова отходил и отходил в серебряную тень истории, былых времен, преданий старины глубокой...

Но в тех же девяностых он испытал боль ни с чем не сравнимую. Боль не обрушалась огнестрельной раной или вылитым мгновенно на ногу тазиком кипятка, нет, у нее была динамика, она проникала постепенно.

Вначале в ровно в девяностом на кафедру пришел Конев. «Тоже мне маршал Конев» как почти сразу и только про себя, никогда и ни перед кем вслух, он его прозвал. Конев окончил МГУ, само МГУ! Как воскликнула декан Лора, когда привела его, гусаристого, симпатичного, поджарого, самодовольного, на кафедру. Почти сразу он возненавидел Коневу какой-то сладкой тягучей ненавистью. Коневу сразу полюбили студенты. Точнее – студентки, на всех филфаках, всегда почти все студенты – студентки. Ладно бы Конев сам чего-то от них хотел, тела их, скажем, так нет! Он любил их, а они любили его. Они любили Коневу искренне! Бегали за ним, как за уткой утята... Он тогда впервые очень сильно осознал, как он сам тяжел и неприятен. И лицом, и речью, и манерами. У него было лицо почти квадратное. Лоб

большой, с тяжелой складкой посередине, двумя медными выпуклыми пластинами, под ним – холодные круглые глаза, дальше всё вырублено топором – нос, рот, глубокая носогубная, редкие волосы, большие лягушки ушей, когда он сподобится на улыбку, это была улыбка Гуинплена... Он старался всегда говорить правильно. Он много лет не расставался с орфоэпическим словарем. Он даже в страшном сне не мог сказать *принудить* вместо *принудить*, а тем более *красивее* вместо *красивее*. Но его правильную речь редко кто слушал! Не сразу, не тогда в девяностых, уже потом, когда ему перевалило за пятьдесят, он осознал, что почти всю жизнь он говорил правильно, но... неинтересно. Он никогда никого не мог своей речью увлечь. Он понял, что почти все, почти всегда, когда вступали с ним в разговор, несколько минут терпели его из вежливости, десятки минут – из интеллигентности, и получали облегчение, когда с ним расставались, когда от него отделялись. Студенты? Точнее – студентки? Им слушать любого, самого скучного преподавателя, часами, днями, годами, студенческой судьбой положено... А Конев всегда нёс какую-то чепуху, фантазмагорию, романтическую бредятину. Мало того, он так же писал в газетах. А потом и говорил на Хабаровском радио, завел свою собственную передачу. И его слушали, читали! Им восторгались!.. Конев был родом из Алма-Аты, какое-то время жил в Свердловске, служил в армии в Иркутске, учился в Москве, а когда учился, объехал на каникулах пол-Союза: Прибалтика, Гру-

зия, Волга, конечно, родной Казахстан, с Киргизией в придачу... и Крым! Да, он бывал в Крыму, рассказывал, что однажды с друзьями не просто махнул на недельку в Ялту, а увязался с черными копателями под Севастополь – в Херсонес, и нарыл там не только тысячелетней давности монеты, но и какое-то древнейшее женское украшение, которое подарил потом, через годы своей жене – хабаровчанке. Так вот, однажды Конев рассказал ему, что в детстве он был и в Артеке. Причем дважды!

Тогда он долго не мог уснуть. Какие-то шуршащие агенты неистребимой, как тараканы, несправедливости мира, просто издеваясь, неприкрыто смеялись в углах комнаты, на полках книжного шкафа, с подоконника, на его письменном столе...

Боль нарастала постепенно... В конце девяносто первого – девяносто втором он яростно следил за распадом СССР. Ему не жалко было Горбачева: тот был хитер, жалок, плохо говорил, от дикции и орфоэпии до стиля – всё ни к черту. Ельцин не давал повода для восторгов. Вечно пьян, дебиловат. Но мог дать. Он даже не интригой, даже просто намеком – там, в Беловежской пуще – мог вернуть России Крым. Мог исправить всю чудовищную нелепость, жестокость, цинизм Хрущева, еще одного дебиловатого и плохо говорящего по-русски генсека, маленького клоуна, «подарившего» Крым Украине. Украина не Крым. Он точно знал это из книг. Украина – это солнечные поля подсолнуха под

Полтавой и хаты под соломенными крышами на хуторах под Миргородом. Украина – это изумрудные карпатские горы. Украина – это крутизна берега Днепра в Кыйиве... Не Крым. Крым – это Екатерина Великая, князь Потемкин-Таврический, вина Масандры, дворец Ливадии, где до сего дня бродят ночами тяжелые вздохи русских императоров, Крым – это золотые рыбки в городском пруду Алупки, это кедр – крымские и гималайские, по которым снуют белки и кидают вам на головы шишки, это Высоцкий и плывущий за кораблем конь в «Служили два товарища», Крым – это домик и сад Чехова, «Дама с собачкой», «Три сестры», «Вишневый сад», Крым – это Сталин в Ялте рядом с Рузвельтом и Черчиллем, это ветра Коктебеля, Волошин и Цветаева, это Керченский пролив, две обороны Севастополя, Симферопольский водопад, Крым – это пещеры, мечеть Кебир-Джами... Это наследие древних греков... И Артек.

Он знал это из книг и телевизора. Только из них. Но знал точно. Точно-точно знал...

Он яростно и одновременно затаив дыхание следил... Три недалеких мужика встретились, поговорили, выпили, подписали... Крым погрузился в сон...

Его мать всё же встретила свое счастье. Поздно, но встретила. Он уже заканчивал институт, дописывал диплом, она вернулась как-то с работы и сказала, нам надо с тобой серьезно поговорить. Понимаешь, я... познакомилась с одним

человеком. Очень хорошим человеком. Он добрый и надежный, как скала. Ему уже немало лет, он старше меня. Но у нас с ним так много общего. Он любит хозяйство, он любит читать. У него есть дети от первой жены, они давно уже не с ними, они живут на западе, но он их очень любит. Это тоже в нем привлекает. Он бывший военный. Но он не сидит на пенсии. Он работает и будет еще долго работать... Он – хороший человек. Сейчас, как ни странно, это – редкость, а дальше – чувствую, хороших людей будет меньше с каждым годом... В общем... В общем я выхожу за него замуж. Я уезжаю жить к нему, в Биробиджан. Тебе придется жить одному. Но я буду часто приезжать. К тому же, может быть, как я выйду замуж и перееду, ты, наконец, подумаешь о своей женитьбе, невесту теперь тебе есть куда привести...

Знала бы тогда эта женщина, что ее сын не женится никогда. Мало того, уже годам к сорока его мужская плоть практически усохнет...

Давал ли он себе отчет, что превращается в робота? Наверное, давал. Пусть редко, но давал. Не мог так не подумать о себе, хотя бы изредка, хотя бы в те – пусть редкие, но обязательные мгновения острого откровения перед самим собой, – которые есть у каждого человека. В тишине и глубоком одиночестве. Когда не можешь уснуть...

Он всё так же ездил одним и тем же трамваем из своего Первого микрорайона в центр, приходил на кафедру – она

правда переехала из главного корпуса в бывшее общежитие, в тесноту и неистребимые запахи: филфаки нигде не в фаворе, наоборот. Он всё так же не хотел ничего менять, а главное – работу. Он всё так же всё, самое глупое и немотивированное, но идущее от стариков и начальства педагогического – теперь уже – университета безропотно выполнял. Всё так же просто повышал голос и сдвигал свои тяжелые брови, когда студенты – студентки – год от года всё более дерзко, уже не намеком и экивоком, а чуть ли не прямым текстом выказывали ему свое неуважение, то, что он им скучен. Что есть куда более прикольные или хотя бы незанудливые преподы... Всё так же ковырялся в своих сложных союзах. Изредка писал то, что хотя бы по форме было похоже на научные статьи. Неизменно отправлял их во Владивосток. Та, уже тоже почти родная ему кафедра тамошнего – настоящего – университета, долгие годы занималась именно служебными словами... Изредка ездил в шахматный клуб. Год от года занимал свое неизбывное срединное место в турнирной таблице первенства города. Всё так же чистил картошку и морковь на ужин...

Были всплески и его бытия.

Мать – очень сильно постаревшая годами, с сильно прохудившимся здоровьем, но не увядшая душой мать, минимум раз в месяц, приезжала из своего Биробиджана, неизменно на суперэлектричке «Ерофей Хабаров», вихрем врывалась – в свои-то восемьдесят! – в его темную комнату, резко распа-

живала шторы, мыла, стирала, готовила – говорила, говорила, говорила, без умолку. Так, как могут только счастливые люди... Иногда он ловил себя на мысли, что он умрет, *просто зачихнув*, гораздо раньше, чем его мать... И не боялся этого... а временами так вообще... *этого хотел*...

Конев... Он давно ушел из пединститута в другой, более престижный вуз, также как и Шустер, так же, как вообще все, кто хоть как-то чем-то выделился из массы, так живут все пединституты, – но обязательно несколько раз в год Конев о себе напоминал. То о нем напишут в газетах. А в последние годы и в новостной ленте регионального интернета. То, щелкая пультом, наткнёшься на его гусарскую улыбку (а он еще и белогвардейские усы отрастил!) в местной телепередаче: вот вещает что-то о литературе, о классиках и современниках. Да он ведь еще и сам писателем стал! То тиснет роман в журнале «Дальний Восток», об очерках и рассказах и говорить не приходится, то наберешь в интернете Илья Конев – выскочит новая ссылка на его новый текст уже в «Журнальном зале», то на какой-то культурной городской тусовке выступит, и его в «Вестях-Хабаровск» покажут... Тоже мне, маршал Конев... Он встречал его раз в два-три года в городе, на центральной улице. И, не помня себя, не давая себе ни секунды для рефлексий, бил его под дых, как когда-то одноклассника Черепа, теперь уж дерзкой, а то и повелительной фразой. Я тут читал в блоге Синицина, что ты напил-ся до чёртиков месяц назад. Ты что, продолжаешь пить? Ты

мне ответить, я знать должен!... Пока Конев туго соображал, почему он должен обязательно это знать, махал рукой и шел дальше... Лет семь-восемь назад на кафедру пришла почта. В конверте среди прочего был автореферат *докторской* диссертации по специальности 10.02.01 – русский язык, Конева Ильи Николаевича... Коллега спросила: вам плохо? – оказывается он тихо, но нутряно застонал...

Владивосток. Когда он начинал задыхаться от разреженного воздуха своей неторопливой жизни, он садился в поезд и ехал во Владивосток. Правда, почти всегда придумывал этому повод. Обсудить с коллегами по кафедре ДВГУ *что-то*. Неважно что. Приезжал и почти на все защиты диссертаций, связанных с кафедрой. Просто сидел на этих защитах, ничего не говорил. Он не член совета, не доктор, он – сам по себе...

Самым сильным всплеском был Крым. Тяжелый сон Крыма двадцать три года тяжело напоминал о себе.

Он не следил специально за осиротевшим Крымом, это Крым двадцать три года следил за ним. Точнее, время от времени посылал ему грустные весточки. Статьями газет. Новостными репортажами телевидения. Забытым курящими мужиками рекламным проспектом на картофельном ларестничной клетки... Потом – интернетовскими постами...

А всё это время, не часто, раз пять в год, но всё же... Перед сном он думал о том, что быть так вечно не может. Что Крым – *лет через сто!* – но обязательно вернется в Россию.

А значит — к нему...

В девяносто первом он читал о крымской автономии... и ничего не понимал. Потом до него доходили сведения о том, как в Крыму хозяйничают жирные коты Кравчука, потом Кучмы, потом Ющенко, а потом и Януковича. Больше всего было читать об Артеке. О том, что потихоньку закрываются дружины-лагеря. Вот нет больше «Алмазного»... Читал о том, что путевка в Артек нынче... какие там 240 рублей — две с половиной тыщи баксов! Бедная мама, родная моя мама, ну почему ты тогда не нашла эти проклятые двести сорок рублей!.. Когда по телику показали сюжет о грязной разборке с грязными педофилами в Артеке, он вообще перестал что-либо понимать... Но что ему, в конце концов, Артек, что Крым и Украина, что ему Гекуба!

В январе ему исполнилось пятьдесят шесть. Сразу вслед за новым годом. Как всегда. Как всегда приезжала мама... Наверное, они со своим мужем растут уже обратно — *в нестарость*. Ему-то сколько нынче, под 90? А по ее словам, он блог в ЖЖ завел. Сейчас вот пишет о киевском Майдане... Когда в последний раз он приезжал в Хабаровск? Лет пять назад? Сейчас уж кости не снесут... А может, и снесут еще, кто знает!.. Ну опять о майдане! И ты, мать, туда же! Сдался он вам! Где мы и где и Киев? Где мы и где Москва? Спроси лучше, что с моей докторской? Еще осенью все уши прожужжала, «Сынок, а с докторской-то твоей что? До шести-

десяти-то защитишься?»... Защищусь, как же! Я еще в кандидатской всё о своих союзах сказал. Точнее, перепел то, что еще сто лет назад о них писали... Ты знаешь, мама, а ведь пузырьки в бокале шампанского не от давления, а оттого что стакан грязный. Невероятно, но факт! В абсолютно чистом бокале пузырьков при освобождении углекислого газа не было бы!.. Ну что ты опять! Да этому Януковичу что леветь, что праветь – ничего не поможет. Пусть сына своего хоть на место ставит, хоть застрелит, как Тарас Бульба Андрия – без разницы. Ничего им не поможет – ничего! Нет линии в их хаосе, и вечен их майдан... Твоя знакомая учительница, говоришь? А что делают детки из ее класса, когда она неделями сидит на майдане?.. Ну, хватит, мама, хватит...

А в феврале он заболел. Никчёмно, глупо, как всегда. Пошел за хлебом, и не укрыл горло шарфом... В горле вырос красный комок...

Ну что он так долго пишет, этот доктор! Мне ж из поликлиники скорей в больницу надо! Скорей на скорой! И еще в карете обезболивающего дать. Больно! Как больно!

Его положили в ЛОР-клинику на площади. Из окна был виден пуп города – центральная площадь с главным городским фонтаном, теперь – замерзшим, спящим, пешеходный переход виадук на нее с центральной улицы, академия госслужбы – бывшая партшкола... Ему было не до картинки...

Двое суток он не мог ни пить, ни есть, ни спать, ни даже

думать. Ему было наплевать, кто, кроме него, еще в палате, на этот вид из окна, на всё! Он мог только терпеть боль и надеяться – вот, вот, вот... после этого укола, после этой капельницы ему полегчает... Боль пройдет... Она не проходила... За что? За что? – только и думал он. Я не пью, не курю, почти не ем мяса, никого не обидел... За что? За что?...

На третий день, он нервически пытался полоскать горло какой-то гадостью, что посоветовал лечащий врач, он ощутил спиной, точнее левой стороной, что сзади стоит кто-то, кто ему сейчас поможет. Это была медсестра той смены, в какую он поступил. Снова её смена. Она была немолода, совсем невыразительна... Но он почувствовал даже не ее, измученное болью сознание сильным ударом интуиции подсказало ему, что сейчас она ему поможет. Он резко обернулся. А вы кетонал пробовали? Только в ампулах, таблетки, капсулы – не в счет. Я вас и поколю... Он бросился в угол палаты, где прятал свою куртку...

После первого же укола ему стало легче. После двух – боль прошла!

В палате, кроме него, было еще два мужичка. Он, улыбаясь, включился в их разговоры...

Давно не спавший, он погрузился в сон часов в восемь. Февральское хабаровское солнце еще играло в стеклах розовым вином... Проснулся – его «Кассио» показывали пять. Чернильное зимнее время плескалось в палате, мужики, Ан-

дрей с фурункулом и Коля с прооперированным носом, сладко посапывали... До рассвета еще часа три. До завтрака – чепыре. Он достал плеер с наушниками... Какой плеер, впрочем, – «Deep Purple» и «Pink Floyd» он много-много лет уже знал наизусть. Он достал радио...

Как много он, оказывается, пропустил! По Киеву маршируют бандеровцы. Во Львове наци растащили оружейные склады. В Харькове и Донецке не стихают митинги. Но главное – Крым спокоен и силен. Там весна. И ожидание чуда.

Он подошел к окну во всю стену. С пятого этажа редкие прохожие в сером раннем рассвете казались суетливыми лилипутами...

Его выписали... Шестнадцатого марта в Крыму был референдум. Семнадцатого стало ясно, что Крым вернулся домой – в Россию. Впрочем, в этом в последние дни никто и не сомневался... Когда восемнадцатого он видел по телевизору, как всю ночь в Симферополе ликует народ, он удивлялся только одному – почему он сейчас не плачет?... *Лет сто, говоришь? Дурак...*

Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой – Аюдагом, *Медведь*-горой. Спящий в море медведь пил соленую воду где-то очень, очень далеко – в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим – он стоял на пу-

стом травяном квадрате, – невысоким забором совершенно-го квадрата росли кусты роз. Бутоны были полураскрывшиеся – желтые, красные и фиолетовые. Щемящим предчувствием *кого-то рядом* ему казалось, что это он сам, только другой – молодой, лет тридцать – тридцать пять назад, и две красивые девушки, точнее, девушка и женщина, которые – *где-то здесь*, близ!, но не понятно где, – улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он – стеснялся и даже боялся их...

Скворец прилетает редко

Скворец прилетает редко. Но прилетает. Раз в год. Или два. Чаше – приплывает. Аэропорт Ичхон близ Сеула, конечно, – супер. Игорь говорит, что он похож на огромную космическую станцию где-нибудь на Марсе. Где всё есть. Вообще всё, – не стоит перечислять. Кстати, построен аэропорт на островах. Любые острова сами по себе немножко другая планета. И авиакомпании буржуазной Кореи – одни из лучших в мире. И цены на билеты не такие заоблачные как в паршивых доморощенных. Но – Игорь любит море. И немного... нет, не скуп... – рачителен. Его сильно напугало безденежное детство, юность и большая часть зрелости. Сейчас он преподает английский в Сеульском национальном университете. Получает, не будучи профессором, а только the instructor – в свои-то пятьдесят с хвостиком, между прочим!... – так вот, получает, будучи всего-то рядовым преподавателем, в месяц столько, столько мне, доценту, не получить за четыре – да еще и со всеми моими шашками. И вообще мы с ним такие разные – как футбольный мяч и хоккейная шайба. Чур, футбольный мяч – я! У меня, между прочим, есть португальский (не какой-нибудь китайский!) футбольный мяч с автографами полутора десятков колоритнейших людей Владивостока – губернатора Дарькина, например, моего ровесника, начинавшего матросом, как я – фрезеровщи-

ком, но, блин, ныне живущего если и не интереснее меня, то куда более таинственно, до сего дня не расшифрована его творческий псевдоним среди местной братвы – Дарыч? Михей? Серега Шепелявый? Как и то, как он всё же попал в губернаторы, и за что его много лет любит герр Путин? Впрочем, мужик он неплохой... Второй жены Сергея Михалыча Ларисы тоже автограф есть. Муж ее любит. Такое бывает редко, но это так. Ради нее целую боевую операцию провернул, чтобы собрать толпы московских клакеров, которые четырежды засыпали овациями самый скучный к востоку от Урала Приморский академический имени Горького театр, где служит Лариса Дмитриевна. Стаса Мальцева автограф на этом мяче есть – худрука театра ТОФ, любая его постановка – езда в неведомое. Классный театр. Но помещеньице у него – безкомфортный и безакустический склад зрителей клуба матросов и капитанов разного ранга, жуткое для театра помещеньице. Сергей Александровича Павлова, конечно, автограф есть. Тренера «Луча-Энергии». Между прочим, автограф 2006-го, когда «Луч» еще был в высшей лиге, а Серг Саныч, стоя у бровки в матчах премьер-лиги, слов ни цензурных, ни подцензурных для своих и чужих ребят, а также арбитра и линейных не жалел. Сейчас он на-амного спокойней. Чай, мы барахтаемся на дне второго дивизиона, и больших эмоций это не может вызвать ни у кого просто по определению. И еще есть пара поэтов, три прозаика и член-корр РАН из местных. Автограф художника и книжного графика

Джона Кудрявцева тоже есть. Он ходит по Владивку в ковбойской шляпе. Борода лопатой, лоб позднего Льва Толстого... даже круче, опрятен и чудовищно талантлив. Будете у нас, обязательно увидите его на Светланской или Алеутской – только без мольберта. Пишет он дома и только дома. Один. Ночами под чифир и одинокое вдохновение, которое иным и не бывает.

Что за ерунда такая – автографы богемы на футбольном мяче? Да просто я люблю футбол, этим всё и сказано. Я был правым, бровочным полузащитником в юношеской сборной Казахстана, два матча сыграл в команде мастеров – самом «Кайрате»! Разве этого вам мало?! К тому же одна из моих шабашек – это журналистика. Точнее, когда-то была. Сейчас я уже стар для журналистики. До тридцати быть журналюгою почетно... но срам крошечный после тридцати... Ну – тридцати восьми... Или сорока двух... В общем, когда я носился в свободное от службы преподавателем время по всяким тусовкам и интервью за-ради потешить тщеславие, во-вторых, и получить гонорарчик, статейку или интервьюшку в одной из кучи владивостокских газет опубликовав, – во-первых, частенько при мне была спортивная сумка. В которой лежал надутый до звона футбольный мяч. Тот самый, производства фирмы «Campo verde», Порту, Португалия, вон на правом конце стола стоит, в дальнем углу, в деревянной из вяза шоколадного оттенка подставочке, на нем – арабские вязи подписей-автографов...

Ну, ладно, хватит о себе, любимом. Разве еще только полслова. Я – троечник. Чистый троечник, коим был и в школе, и в университете... С перерывом на подготовку в вуз, само – или сам? – ЛГУ, куда я поступил со второго раза, стерев все свои зубы, у меня уже в 45 – стала в рот вставная челюсть, – о гранит науки, и сильно я напугался, на всю оставшуюся жизнь напугался усердной зубрёжки, кою всё же в те два года, не дай Бог никому, испытал, когда мозги буквально болят, как огнестрелом раненное плечо... И чисто по жизни я троечник. Так-то вот... Отсюда: из Питера – во Владик, посмотрите по карте, где Питер и где Владик, а? А родился я вообще, как вы, наверное, догадались, в Алма-Ате. Отсюда: только в 45, одновременно с разноской вставных зубных протезов, защитил кандидатскую, и уже не в Питере, конечно, а, с грехом пополам, в местном университете, дай Бог ему здоровья!.. И работаю – в кустах. Из кустов. В кульке. Институты искусств и культуры в нашей необъятной стране называют по-разному. Но всегда адекватно. Пусть даже они кое-где, как у нас, превратились в академии, а кое-где, в том же Санкт-Петербурге, даже и университеты. Россия любит самозванство. Равновесие обеспечивает вторичная номинация... И преподаю не английский (основной язык на отделении «русский как иностранный» филфака), не немецкий (второй язык), не русский и культуру речи..., а... да нет, не физкультуру, что вы? Культурологию... Сам не понимая, уже много лет, что это такое...

Ну еще – зарубежку, зарубежную литературу от античности до наших дней, от Гомера до «Парфюмера»... «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. // Я список кораблей прочел до середины: // Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, // Что над Элладой когда-то поднялся...» Ну, в самую точку с полусписком попал Осип Эмильевич!.. Между прочим, живу я в районе Второй Речки...

А вот Игорь Скворцов – отличник. С судьбой. Как и я. Но, как и я, без карьеры, без успеха, в слезах и в кровь разбитым носом сквозь жизнь, ее овраги, буераки, тернии, но не к звездам, он, как и я, прорывается. Оттого, конечно, и дружим. Со студенческой скамьи. С того самого благословенного времени, когда джинсы и сигареты «Мальборо» нужно было доставать в боях и засадах, а потом носить и курить гордо, как орел! Когда можно было сесть в тюрягу за стихи – и знать, что жизнь ты прожил не напрасно, когда билет в плацкарте от Москвы до Питера и от Питера до Москвы, в два конца, по студенческому билету стоил десятку. При стипендии в сорок... Когда... не знаю, по-моему, веселее жилось. Когда у тупиц, блюдолизов, воров и садистов, так же как и у нормальных людей, это на лбу было написано. А не так как сейчас, в «Новой России» – одни шифры, коды, шхеры и темные подвалы, где, ну, не разглядеть ни кого-либо и ни чего-либо...

Скворец прилетает редко. Но прилетает. Раз в год. Или

два. Чаше – приплывает. Катер-паром идет от Наджина до поселка Зарубино. Дальше – до Владика автобусом. Море – в изумрудных волнах и островах. Нравится Игорю и экономия.

На малой родине в Тамбовской области у Игоря уже давно никого нет. Здесь он говорит по-русски. Этой роскоши ему в Сеуле почти не достать. У него ж ни жены, ни семьи, ни кола, ни двора, старые друзья – в России, а новых друзей не бывает...

Рука в руку и захват дружеских объятий. В этот раз Игоря не было не год – два. Объятия крепки. Еще на автовокзале, как обычно, я достаю из портфеля чекушку, «ноль, триста», и Игорь, как обычно, морщится. Отличники не пьют. Ну, почти не пьют. Почти всю пью сам. Едем на такси, точнее, бомбиле в гостиницу. Здесь я Игоря оставляю, погуляю по городу, пока не выветрится чекушка, и поеду на автобусе домой. К жене и многочисленным детям... Встретимся и посидим мы с Игорем завтра...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.